Все это произошло случайно, если верить, что случай действительно существует.

Поручик Шустов, получивший назначение в другой полк, совсем и не думал задерживаться в этом заволжском городке. Но он опоздал к отходившему пароходу.

Городок лепился к реке, от которой вверх уходили горбатые с цветистыми палисадниками улочки. Река слепила рябью. Веяло жаром. От всего исходила такая истома, что хотелось поскорее укрыться в тень. Оставив чемодан в гостинице, поручик, осмотрев старинную церковь и не зная, чем занять себя, прошелся по длинному бульвару с тенистыми липами по краям и, выйдя на залитую безжалостным полуденным солнцем площадь у благородного собрания, увидел афишу. Вечером здесь давали бал. Вот это как раз, обрадовался поручик. Но надо было обзавестись билетом. Посмотрев на его погоны, швейцар, сухонький, на деревянной ноге, бывший солдат, провел его к управляющему, который заметил, что молодые люди такого полета на балах никогда не лишни. Его благородию не следует беспокоиться.

Вечером в свежем мундире, в начищенных до блеска сапогах, он вошел в зал, когда уже пары кружились в танце. Дамы все были разобраны. Надо ждать перерыва. Он было повернулся к буфету, когда за спиной услышал:

— Ой, какая жалость, мама, мы пропустили первый вальс.

— Совсем нет! — мгновенно, как по команде «кругом», поручик развернулся.

Широко раскрыв глаза, потряхивая золотистыми локонами, ему улыбалось совсем юное существо.

— Ой, как чудесно! — воскликнула девушка.

— Позвольте? — церемонно поклонился поручик сопровождавшей ее, приветливо улыбавшейся даме.

Они кружились в танце, потом о чем-то весело и беззаботно, будто уже были хорошо знакомы, да только давно не видались, болтали. Он вышел покурить и, возвращаясь в зал, думал, что вот наконец-то ей представится и узнает ее имя, но там, где он ее оставил, девушки не было. Он обежал весь зал. Нигде. И спросить не у кого. Что спросить? Вы видели, с кем я танцевал, кто это? Смешно.

Все же он разыскал управляющего. Благодушно выслушав его, тот, одергивая рукава зеленого, расходившегося по швам фрака, обдавая его ароматом различных напитков, сказал:

— С локонами и большими голубыми глазами…

Тут много таких, а следить за тем, кто с кем танцует, не по его части. Однако же чувства его благородия ему понятны, сами, бывало, по младости лет в них воспаряли, так сказать, падали душой. Он постарается к завтрашнему дню разузнать, кто была та особа, которую их благородие ищут.

— Да на рассвете у меня пароход! — воскликнул огорченный Шустов. Задерживаться ему нельзя. В полк он должен был прибыть к сроку.

— В таком случае, не угодно ли их благородию снабдить адресочком, туда ему и отпишут.

Оставив адрес и сунув ему какие-то деньги, он уехал с чувством, какое бывает, когда теряешь драгоценную для тебя находку.

Желанное письмо так и не пришло. И он вспоминал о промелькнувшем бале, как о сне, которому никогда не сбыться. В городок тот он больше не попал, его перевели в другой гарнизон.

А вскоре грянула война. Где-то за Припятью его тяжело ранило. Он долго не приходил в себя. Бредил, но временами, когда открывал глаза, ему казалось, что он видит когда-то знакомое лицо. Он старался вспомнить, кто это, метался по подушке, словно гнался за ним, а лицо ускользало. Откроешь глаза — оно тут, склоняется над ним. Он чувствовал прикосновение ласковых рук. Раз даже будто прошептали его имя. И опять он проваливался в пустоту. Но, приходя в себя, он уже знал, чье это лицо. Эта была она, та, что так внезапно исчезла на том далеком заволжском балу.

Наконец боль отошла. Проснувшись поутру, он долго лежал, не решаясь открыть глаза. Ведь то, что ему чудилось, могло быть всего лишь являвшимися ему в бреду видениями. Нет, это не видения. Это была она… Сейчас она войдет, и он наконец-то узнает ее имя и ей выскажет все, что давно хотел сказать.

Но она все не шла.

Он еще не знал, что ночью его перевезли в другой госпиталь, подальше от фронта. И опять, как на том балу, спросить, кто была та, что склонялась над ним, было не у кого.

Потом война, теперь уж гражданская, фронтами перерезала страну. Они переплетались так, что нелегко было разобраться, кто на чьей стороне, города переходили из рук в руки помногу раз.

На каком-то полустанке полк штабс-капитана Шустова задержали, пропуская санитарный поезд. Вагоны, словно не пускала их разразившаяся метель, замедлили ход. Кутаясь в башлык, Шустов машинально провожал их взглядом. Снежная кисея застилала окна, и сквозь нее он увидел… Это было то самое, видевшееся ему в порывах забытья лицо. Она тоже узнала его, что-то кричала, протирала стекло. Иней покрывал вагонное окно, и через его серебро, как лик в окладе, были видны лоб, глаза и спадавшие на щеки золотистые локоны. А поезд набирал скорость. Острые льдинки кололи лицо, но Шустов все бежал и бежал, а поезд уходил все дальше и дальше. Он все еще надеялся, что, может, поймает хоть записочку. Да разве найдешь ее в такой метели.

Раздалась команда, и он побежал к своему вагону, все еще оглядываясь, стараясь зачем-то запомнить этот поезд, уносящий, и теперь навсегда, ту, которую ему не суждено найти, и лишь этому видению жить в его памяти.

Крым стал для него последним редутом. Последний клочок того, что совсем недавно носило гордое имя Россия и где еще можно было дышать свободно. И

Шустов сражался не только потому, что так требовали от него присяга и долг. Это было проявлением рыцарства. Они — последние рыцари Русской земли. Война проиграна, но рыцари не сдаются и жертвуют собой во имя чести. Честь, в конце концов, последнее, что остается у порядочного человека. Это его единственное богатство.

Они дрались отчаянно. Но сил не хватало. Их было слишком мало. Уже были потеряны подступы к Севастополю, а с ними остававшиеся еще надежды.

Город переживал тревожные дни. Повсюду на улицах валялись когда-то дорогие, с которыми никогда не думали расставаться, и вот брошенные вещи. Проносились пролетки с торопившимися в порт. Гудели стоявшие на рейде корабли. Из темных углов и подворотен, как учуявшие добычу крысы, вылезла всякая шваль. Она грабила дома, прохожих, дралась между собой за добычу. То тут, то там уже постреливали. Над городом занималось зарево пожарищ.

Отряду Шустова, сформированному из юнкеров и казаков, была поручена охрана порядка. В кармане штабс-капитана лежал приказ главнокомандующего: «Запрещаю какую бы то ни было порчу или уничтожение казенного или общественного имущества, т. к. таковое принадлежит русскому народу».

Вытянувшись в цепь вдоль Графской набережной, отряд направлял в определенное русло массу угрюмых, усталых людей. Шли молча, спокойно, без паники. Шуршание ног, двигавшихся будто бы с трудом, словно нехотя отрывавшихся от родной земли, сливалось в удручающий шорох, который навсегда остался в памяти Шустова, как мелодия прощального марша. Поток казался нескончаемым.

«На тех, кто хотел бы убежать, не хватило бы всех кораблей мира», — подумал штабс-капитан.

Он все еще не решался. Ветер носил листовки. Фрунзе обещал сдавшимся жизнь и свободу. Шустов этому не верил.

«Побежден — пощады не жди. Таков закон этой жестокой войны. Она смела все, что было дорого. Дом в Саратове разорен. Отец расстрелян. Мать… Ее уж нет. Страна, народ, которые считал своими, оставались здесь. А там? Чужбина. А народ, мои солдаты, с которыми я ухожу — это и есть мой народ».

Гудки, перекликаясь друг с другом, словно торопили.

Он бросил злобный взгляд на корабли, будто они были в чем-то виноваты. Какой-то из них увезет его от родной земли, увезет и теперь уж, наверное, навсегда, от нее, которую он так и не нашел.

Откуда-то, относимый ветром, долетел знакомый марш… «С ним мы уходили на войну».

На минуту пахнуло далекой радостью тех дней. Кто думал, что вместо встречи с победой на Родине, нас ждет разлука с ней?..

Всполохи пожаров окрашивали море в красный цвет. И брызги его казались каплями крови.

Марш стал слышнее. Будто «Славянка» сейчас прощалась с ним, с ним одним.

Из гавани, точно плач покидающих родной насест птиц, неслись заунывные гудки. Да и погода была плачущей. Кропил землю мелкий дождь. На душе становилось еще тяжелее. Да ведь и этот несчастливый ноябрьский день, и хмурое небо, и этот дождь — последние на родной земле.

Волны, набегая на гранит пристани, обдавали его брызгами. Словно слезы, они ползли по щекам. Родное море слало ему прощальный привет. Остаются позади самые дорогие годы. Одно утешение — ты еще молод, впереди еще долгая жизнь. Багажа у него не было. Что было — унес денщик из бывших красноармейцев, которого он пригрел. «Ну что же, налегке даже сподручнее, и беспокоиться не о

чем», — подбодрил себя штабс-капитан. «Мой покровитель со мной, — провел он рукой по Георгию на груди, — не выдаст».

«Годы наши еще молодые, раз выжил — значит, надо жить. Не повезло на Родине — попытаем счастья на чужбине».

Он вынул кисет, набил трубку и, разжигая ее, отвернулся в сторону от моря. В нескольких шагах от него на камне, опустив голову в большой потрепанной желтой шляпе, с кульком на коленях, словно поникший цветок, замерла женская фигура.

Рванул ветер и, стараясь удержать шляпу, женщина подняла голову. Шустов смахнул брызги с лица и, если это было наваждение, стряхнул и его, решительно шагнул вперед.

— Я не знаю, как вас зовут, но это вы, та, которую я так долго искал. Я прошу вашей руки, — одним духом выпалил он.

— Вот она, штабс-капитан, — услышал он в ответ.